

ДЕТСКИЙ МИР

СОСТАВИТЕЛЬ
ДМИТРИЙ
БЫКОВ

18+

Людмила
Улицкая

Виктор
Пелевин

Захар
Прилепин



Людмила Стефановна Петрушевская
Ольга Романовна Трифонова
Александр Абрамович Кабаков
Анна Александровна Матвеева
Михаил Иосифович Веллер
Людмила Евгеньевна Улицкая
Василий Павлович Аксенов
Татьяна Владимировна Москвина
Андрей Георгиевич Битов
Андрей Вадимович Макаревич
Павел Васильевич Крусанов
Андрей Алексеевич Аствацатуров
Евгений Германович Водолазкин
Виктор Олегович Пелевин
Татьяна Никитична Толстая
Денис Викторович Драгунский
Михаил Павлович Шишкин
Александр Викторович Иличевский
Сергей Александрович Шаргунов
Захар Прилепин
Майя Александровна Кучерская

**Дмитрий Анатольевич Горчев
Александр Михайлович Терехов
Марина Львовна Степнова
Юрий Павлович Казаков
Дмитрий Львович Быков
Алексей Портнов
Детский мир (сборник)**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8880002
Детский мир : [рассказы] / сост. Д. Быков, А. Портнов: АСТ : Редакция
Елены Шубиной; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-088369-1*

Аннотация

Татьяна Толстая и Виктор Пелевин, Людмила Улицкая и Михаил Веллер, Захар Прилепин и Марина Степнова, Майя Кучерская и Людмила Петрушевская, Андрей Макаревич, Евгений Водолазкин, Александр Терехов и другие известные прозаики рассказывают в этом сборнике о пугающем детском опыте, в том числе – о своем личном.

Эти рассказы уверенно разрушают миф о «розовом детстве»: первая любовь трагична, падать больно, жить, когда ты лишен опыта и знаний, страшно. Детство все воспринимает в полный

рост, абсолютно всерьез, и потому проза о детстве обязана быть предельно серьезной – такой, как на страницах «Детского мира».

Содержание

Дмитрий Быков	7
Часть I	13
Татьяна Толстая	13
Татьяна Толстая	26
Виктор Пелевин	44
Андрей Битов	60
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Детский мир (сборник)

© Т. Толстая, В. Пелевин, А. Битов и др.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Дмитрий Быков

И никакого розового детства...

Сборник, который вы держите в руках и который вам лучше поскорей положить на место, призван разрушить давнюю и опасную ложь о безмятежном рае детства.

А зачем вам разрушать эту ложь? Вы, может быть, ею живете, она одна способна вас утешить в чистилище вашей нынешней жизни, где ярких событий почти нет, и слава богу. Потому что если что-то яркое случается, оно, как правило, ужасно, или как минимум неприятно, и всегда ломает ваш устоявшийся, уложившийся уклад. Не люблю никаких перемен, потому что никогда не видел перемен к лучшему, говорил герой романа Джозефа Хеллера «Что-то случилось» — лучшего взрослого романа о взрослой жизни, который я читал.

Советский строй был жизнелюбив, он наследовал в этом смысле классической русской культуре, где жаловаться считалось неприличным, а декадентов и прочих нытиков сам Чехов предлагал загнать в арестантские роты. Здоровые мужики, а ноют. Жизнелюбие предписывалось, и потому чем ближе к смерти, тем, стало быть, хуже. Детство — рай, зрелость — чистилище, старость — полноценный ад, утешается она только почетом, который ей у нас везде.

Нежизнелюбив в русской классике был Герцен. Ему в этом прямо наследовала Лидия Чуковская, которая так прямо и спрашивала в одном письме: зачем, собственно, любить жизнь? Ведь это то же самое, что любить широкую извозничью спину, ватный зад, который давит все вокруг.

Даже солнце наше, Пушкин, который вроде как задал всю парадигму наших ценностей и стал для России христологической, вероучительной фигурой, – придерживался довольно пессимистических взглядов: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина».

Более реалистический взгляд на вещи предполагает, наоборот, постепенное улучшение: детство – пора самых мучительных и трудных испытаний, зрелость еще туда-сюда, а старость – гармония с миром, когда уже не надо ничего добиваться и можно наслаждаться трудами. А что смерть все ближе – так нельзя же вечно коптить небо. Если бы не она, любовь не знала бы той остроты, а искусства не было бы вообще, ибо все искусство направлено на преодоление смерти. Жизнь к концу лишается хищности, обретает некую нравственную высоту, старость способна облагородить даже и подлеца, и мелкого хищника. Тогда как в детстве все обнажено, ничем не прикрыто, человек еще не научился ни жалеть, ни защищаться. Детство – хищническая площадка молодняка, страшный мир, лишенный снисхождения и, главное, свободы, потому что в детстве какая же свобода? Тотальная, рабская зависимость. Помню, как поразило меня

в середине девяностых эссе Елены Иваницкой «Детство как пустое место» – там была сказана правда и о собственном детстве, полном obsessions, страхов и выматывающих ритуалов, и об аде советского детства вообще, и о том, сколь беззащитен ребенок в мире взрослых, какими бы любящими и заботливыми эти взрослые ни были. Все это было про меня. Мое детство было ужасно, хотя и прекрасно: в нем все впечатления были стократно ярче, чем даже в пылкой юности, но и конфликты, и трагедии, не говоря о страстях, были такими, что доселе удивляюсь: как я не покончил с собой и не сошел с ума? Самоубийство, допустим, всегда казалось мне ужасной пошлостью, капитуляцией, я не мог позволить «всем им» одержать верх. Но вот безумие точно бродило рядом, и никогда потом я не был к нему так близок. Скажу честно: в армии по сравнению со школой я себя чувствовал почти прекрасно, уж точно нормально. Самые страшные мои воспоминания – именно детские, школьные. Самые счастливые – тоже, иначе не было бы необходимого контраста; но если это счастье я вполне способен испытывать и сейчас, извлекая из подсознания все черты и способности того школьника, – то ужас и тревога детских лет кончились бесповоротно. Взрослость то ли заглушила их, то ли научила с ними бороться.

У Кушнера, одного из самых точных и честных современных поэтов, есть об этом стихи, которые, собственно, и стоило бы тут поместить вместо предисловия.

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать – пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут?
Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобый
Вид – вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.
И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже –
Все это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

То есть дело не в климате, не во временах за окном, которые не выбирают, не в сталинизме, на который пришлось кушнеровское детство. Маленький школьник всегда грозно

покинут, это биологическая, непреодолимая драма детства. Все у него впервые, опыта взять неоткуда. Особенно ужасно, что грехи тоже впервые, и никто не может от них предостеречь: детство – время, когда мораль усваивается только на личном опыте, и чаще всего от противного. В неровном, однако неглупом фильме Люка Бессона «Люси» героине устраивают полный и резкий апгрейд – с помощью тех веществ, которые для быстрого роста получает от матери организм ребенка. И там она вспоминает себя именно ребенком, зародышем, которому было страшно больно оттого, что у него росли кости. А сам ужас рождения – это ведь небось пострашнее смерти, проходить через такие узкие врата!

Детство все воспринимает в полный рост, абсолютно серьезно, и потому детская литература обязана быть трагической, предельно серьезной. Это понимал Андерсен, автор самых жестоких сказок в мировой литературе. Это знал Гофман. Лучше многих чувствовал это Диккенс, а еще острее и болезненней – Сологуб, который, кажется, заранее знал отчаянные строки Мандельштама, написанные уже через семь лет после сологубовской смерти:

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Из современных авторов это хорошо понимает Владислав

Крапивин – трагедию детства и его опасности он чувствует идеально.

В этой книге собраны сочинения почти обо всех гранях этого пугающего детского опыта. Тут есть рассказы о детской любви – не влюбленности, а именно любви, потому что любовь, еще не омраченная половым чувством, не отягощенная жадностью и похотью, только и заслуживает названия любви, остальное так, мимо. Есть рассказы о страшном опыте общения со сверстниками, о периоде борьбы за существование – никакая карьерная грызня не достигает такого накала, как конфликты в детской стайке. Есть, наконец, рассказы о столь же ужасном, первом ощущении своего *я* – когда ты вдруг с отчаянием понимаешь, что ты – это ты, что ты смотришь на себя не со стороны, читаешь про себя не в книжке, что ты – это тот, с кем все происходит на самом деле, и жизнь, и смерть, и тебе некуда деться от себя. В детстве, помню, эта мысль меня мучила так, что я в нее словно проваливался, и тогда любое напоминание о реальности – даже мысль о том, что завтра в школу, – была для меня утешительна. Представляете, как это было ужасно, если школа – царство сплошного кошмара почти без просветов – утешала?

Люди, прожившие детство всерьез и с открытыми глазами, выходят в жизнь готовыми: после этого с нами ничего не сделаешь.

Дмитрий Быков

Часть I

О других

Татьяна Толстая

«На золотом крыльце сидели...»

Сестре Шуре

*На золотом крыльце сидели:
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты такой?
Говори поскорей.
Не задерживай добрых людей!*

Детская считалка

Вначале был сад. Детство было садом. Без конца и края, без границ и заборов, в шуме и шелесте, золотой на солнце, светло-зеленый в тени, тысячеярусный – от вереска до верушек сосен; на юг – колодец с жабами, на север – белые розы и грибы, на запад – комариный малинник, на восток – черничник, шмели, обрыв, озеро, мостки. Говорят, рано утром на озере видели совершенно голого человека. Честное слово.

Не говори маме. Знаешь, кто это был?.. – Не может быть. – Точно, я тебе говорю. Он думал, что никого нет. А мы сидели в кустах. – И что вы видели? – Все.

Вот это повезло! Такое бывает раз в сто лет. Потому что единственный доступный обозрению голый – в учебнике анатомии – ненастоящий. Содрав по этому случаю кожу, нагловатый, мясной и красный, похвастается он ключично-грудинно-сосковой мышцей (все неприличные слова!) перед учениками восьмого класса. Когда (через сто лет) мы перейдем в восьмой класс, он нам тоже все это покажет.

Таким же красным мясом старуха Анна Ильинична кормит тигровую кошку Мемеку. Мемека родилась уже после войны, у нее нет уважения к еде. Вцепившись четырьмя лапками в ствол сосны, высоко-высоко над землей, Мемека застыла в неподвижном отчаянии.

– Мемека, мясо, мясо!

Старуха потряхивает тазик с антрекотами, поднимает его повыше, чтобы кошке было лучше видно.

– Ты посмотри, какое мясо!

Кошка и старуха с тоской смотрят друг на друга. «Убери», – думает Мемека.

– Мясо, Мемека!

В душных зарослях красной персидской сирени кошка портит воробьев. Одного такого воробья мы нашли. Кто-то содрал скальп с его игрушечной головки. Голый хрупкий череп, как крыжовина. Страдальческое воробьиное личико.

Мы сделали ему чепчик из кружавчиков, сшили белую рубашечку и похоронили в шоколадной коробке. Жизнь вечна. Умирают только птицы.

Четыре беспечные дачи стояли без оград – иди куда хочешь. Пятая была «собственным домом». Черный бревенчатый сруб выбирался боком из-под сырого навеса кленов и лиственниц и, светлея, умножая окна, истончаясь до солнечных веранд, раздвигая настурции, расталкивая сирень, уклонившись от столетней ели, выбегал, смеясь, на южную сторону и останавливался над плавным клубнично-георгиновым спуском вниз-вниз-вниз, туда, где дрожит теплый воздух и дробится солнце в откинутых стеклянных крышках волшебных коробок, набитых огуречными детенышами в розетках оранжевых цветов.

У дома (а что там внутри?), распахнув все створки пронизанной июлем веранды, Вероника Викентьевна – белая огромная красавица – взвешивала клубнику: на варенье себе, на продажу соседям. Пышная, золотая, яблочная красота! Белые куры бродят у ее тяжелых ног, индюки высунули из лопухов непристойные лица, красно-зеленый петух скосил голову, смотрит на нас: что вам, девочки? «Нам клубники». Пальцы прекрасной купчихи в ягодной крови. Лопух, весы, корзинка.

Царица! Это самая жадная женщина на свете!

Наливают ей заморские вина,

Заедает она пряником печатным,
Вкруг ее стоит грозная стража...

Однажды с такими вот красными руками она вышла из темного сарая, улыбаясь: «Теленочка зарезала...»

На плечах топорики держат...

А-а-а! Прочь отсюда, бегом, кошмар, ужас – холодный смрад – сарай, сырость, смерть...

А дядя Паша – муж такой страшной женщины. Дядя Паша – маленький, робкий, затюканный. Он старик: ему пятьдесят лет. Он служит бухгалтером в Ленинграде: встает в пять часов утра и бежит по горам, по долам, чтобы поспеть на паровичок. Семь километров бегом, полтора часа узкоколейкой, десять минут трамваем, потом надеть черные нарукавники и сесть на жесткий желтый стул. Клеенчатые двери, прокуренный полуподвал, жидкий свет, сейфы, накладные – дяди-Пашина работа. А когда пронесется, отшумев, веселый голубой день, дядя Паша вылезает из подвала и бежит назад: послевоенный трамвайный лягз, дымный вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие, корзинки; ветер гонит мятые бумажки по опустевшему перрону. Летом – в сандалиях, зимой – в подшитых валенках торопится дядя Паша в свой Сад, в свой Рай, где с озера веет вечерней тишиной, в Дом, где на огромной кровати о четырех стеклянных ногах колышется необъятная золотоволосая Царица. Но стеклянные ноги

мы увидели позднее. Вероника Викентьевна надолго поссорилась с мамой.

Дело в том, что однажды летом она продала маме яйцо. Было неременное условие: яйцо немедленно сварить и съесть. Но легкомысленная мама подарила яйцо дачной хозяйке. Преступление всплыло наружу. Последствия могли быть чудовищными: хозяйка могла подложить яйцо своей курице, и та в своем курином неведении высидела бы точно такую же уникальную породу кур, какая бегала в саду у Вероники Викентьевны. Хорошо, что все обошлось. Яйцо съели. Но маминой подлости Вероника Викентьевна простить не могла. Нам перестали продавать клубнику и молоко, дядя Паша, пробегая мимо, виновато улыбался. Соседи замкнулись: они укрепили металлическую сетку на железных столбах, насыпали в стратегически важных пунктах битого стекла, протянули стальной прут и завели страшного желтого пса. Этого, конечно, было мало.

Ведь могла же мама глухой ночью сигануть через забор, убить собаку и, проползя по битому стеклу, с животом, распоротым колючей проволокой, истекая кровью, изловчиться и слабеющими руками вырвать ус у клубники редкого сорта, чтобы привить его к своей чахлой клубничонке? Ведь могла же, могла добежать с добычей до ограды и, со стоном, задыхаясь, последним усилием перебросить клубничный ус папе, который притаился в кустах, поблескивая под луной круглыми очками?

С мая по сентябрь мучимая бессонницей Вероника Викентьевна выходила ночами в сад, долго стояла в белой просторной рубаше с вилами в руках, как Нептун, слушала ночных птиц, дышала жасмином. В последнее время слух у нее обострился: она могла слышать, как на нашей даче, за триста метров, накрывшись с головой верблюжьим одеялом, папа с мамой шепотом договариваются объегорить Веронику Викентьевну: прорыть подземный ход в парник с ранней петрушкой.

Ночь шла вперед, дом глухо чернел у нее за спиной. Где-то в теплой тьме, в сердцевине дома, затерявшись в недрах огромного ложа, тихо, как мышь, лежал маленький дядя Паша. Высоко над его головой плыл дубовый потолок, еще выше плыла мансарда, сундуки со спящими в нафталине черными добротными пальто, еще выше – чердак с вилами, ключьями сена, старыми журналами, а там – крыша, рогатая труба, флюгер, луна – через сад, через сон плыли, плыли, покачиваясь, унося дядю Пашу в страну утраченной юности, в страну сбывшихся надежд, а потом возвращалась озябшая Вероника Викентьевна, белая и тяжелая, и отдавливала ему маленькие теплые ножки.

...Эй, проснись, дядя Паша! Вероника-то скоро умрет.

Ты побродишь без мыслей по опустевшему дому, а потом воспрянешь, расцветешь, оглядишься, вспомнишь, отгонишь воспоминания, возжаждешь и привезешь – для помощи по хозяйству – Вероникину младшую сестру, Маргариту,

такую же белую, большую и красивую. И это она в июне будет смеяться в светлом окне, склоняться над дождевой бочкой, мелькать среди кленов на солнечном озере.

О, как на склоне наших лет...

А мы ничего и не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима, свинка и корь, наводнение, и бородавки, и горящая мандаринами елка, и мне сшили шубу, а тетка во дворе потрогала ее и сказала: «Мутон!»

Зимой дворники наклеивали на черное небо золотые звезды, посыпали толчеными брильянтами проходные дворы Петроградской стороны и, взбираясь по воздушным морозным лестницам к окнам, готовили на утро сюрпризы: тоненькими кисточками рисовали серебряные хвосты жар-птиц.

А когда зима всем надоедала, они вывозили ее на грузовиках за город, пропихивали худосочные сугробы в зарешеченные подземелья и размазывали по скверам душистую черную кашу с зародышами желтых цветочков. И несколько дней город стоял розовый, каменный и гулкий.

А оттуда, из-за далекого горизонта, уже бежало, смеясь и глумя, размахивая пестрым флагом, зеленое лето с муравьями и ромашками.

Дядя Паша убрал желтого пса – положил в сундук и посыпал нафталином; пустил в мансарду дачников – чужую чернявую бабушку и толстую внучку; зазывал в гости детей

и угощал вареньем.

Мы висели на заборе и смотрели, как чужая бабушка каждый час распахивает цветные окна мансарды и, освещенная арлекиновыми ромбами старинных стекол, вызывает:

– Булки-молока хоччш?!

– Не хочу.

– Какать-писать хоччш?!

– Не хочу.

Мы скакали на одной ножке, лечили царапины слюной, зарывали клады, резали ножиком дождевых червей, подглядывали за старухой, стиравшей в озере розовые штаны, и нашли под хозяйским буфетом фотографию удивленной ушастой семьи с надписью: «На долгую, долгую память. 1908 год».

Пойдем к дяде Паше! Только ты вперед. Нет, ты. Осторожно, здесь порог. В темноте не вижу. Держись за меня. А он покажет нам комнату? Покажет, только сначала надо выпить чаю.

Витые ложечки, витые ножки у вазочек. Вишневое варенье. В оранжевой тени абажура смеется легкомысленная Маргарита. Да допивай ты скорее! Дядя Паша уже знает, ждет, распахнул заветную дверь в пещеру Аладдина. О комната! О детские сны! О дядя Паша – царь Соломон! Рог Изобилия держишь ты в могучих руках! Караван верблюдов призрачными шагами прошествовал через твой дом и растерял в летних сумерках свою багдадскую поклажу! Водопад бархата, страусовые перья кружев, ливень фарфора, золотые

столбы рам, драгоценные столики на гнутых ножках, запертые стеклянные колонны горок, где нежные желтые бокалы обвил черный виноград, где мерцают непроглядной тьмой негры в золотых юбках, где изогнулось что-то прозрачное, серебряное... Смотри, драгоценные часы с ненашими цифрами и змеиными стрелками! А эти – с незабудками! Ах, но вон те, вон те, смотри же! Над циферблатом – стеклянная комнатка, а в ней, за золотым столиком – золотой Кавалер в кафтане, с золотым бутербродом в руке. А рядом золотая Дама с кубком – часы бьют, и она бьет кубком по столику – шесть, семь, восемь... Сирень завидует, вглядываясь через стекло, дядя Паша садится к роялю и играет Лунную сонату. Кто ты, дядя Паша?..

Вот она, кровать на стеклянных ногах! Полупрозрачные в сумерках, невидимые и могущественные, высоко к потолку возносят они путаницу кружев, вавилоны подушек, лунный, сиреневый аромат божественной музыки. Белая благородная голова дяди Паши откинута, улыбка Джоконды на его устах, улыбка Джоконды на золотом лице Маргариты, бесшумно вставшей в дверях, колышутся кружева занавесок, колышется сирень, колышутся георгиновые волны на склоне до горизонта, до вечернего озера, до лунного столба.

Играй, играй, дядя Паша! Халиф на час, заколдованный принц, звездный юноша, кто дал тебе эту власть над нами, замороженными, кто подарил тебе эти белые крылья за спиной, кто вознес твою серебряную голову до вечерних небес,

увенчал розами, осенил горним светом, овеял лунным ветром?..

О Млечный Путь, пресветлый брат
Молочных речек Ханаана,
Уплыть ли нам сквозь звездопад
К туманностям, куда слиянно
Тела возлюбленных летят!

...Ну все. Пошли давай. Неудобно сказать дяде Паше простецкое слово «спасибо». Надо бы витиеватее: «Благодарю вас». – «Не стоит благодарности».

А ты заметила, что у них в доме только одна кровать? – А где же спит Маргарита? На чердаке? – Может быть. Но вообще-то там дачники. – Ну, значит, она в сенях, на лавочке. – А может, они спят на этой стеклянной кровати, валетом? – Дура ты. Они же чужие. – Сама ты дура. А если они любовники? – Да ведь любовники бывают только во Франции. – Действительно. Это я не сообразила.

...Жизнь все торопливее меняла стекла в волшебном фанаре. Мы с помощью мамы проникали в зеркальные закоулки взрослого ателье, где лысый брючный закройщик снимал постыдные мерки, приговаривая: «Побеспокою», мы завидовали девочкам в капроновых чулках, с проколотыми ушами, мы пририсовывали в учебниках: Пушкину – очки, Маяковскому – усы, а Чехову – в остальном вполне одаренному природой – большую белую грудь. И нас сразу узнал, и ра-

достно кинулся к нам заждавшийся дефективный натурщик из курса анатомии, щедро протягивая свои пронумерованные внутренности, но бедняга уже никого не волновал. И, оглянувшись однажды, недоумевающими пальцами мы ощущали дымчатое стекло, за которым, прежде чем уйти на дно, в последний раз махнул платком наш сад. Но мы еще не осознали утраты.

Осень вошла к дяде Паше и ударила его по лицу. Осень, что тебе надо? Постой, ты что же, всерьез?.. Облетели листья, потемнели дни, сгорбилась Маргарита. Легли в землю белые куры, индюки улетели в теплые страны, вышел из сундука желтый пес и, обняв дядю Пашу, слушал вечерами вой северного ветра. Девочки, кто-нибудь, отнесите дяде Паше индийского чаю! Как мы выросли. Как ты все-таки сдал, дядя Паша! Руки твои набрякли, колени согнулись. Зачем ты дышишь с таким свистом? Я знаю, я догадываюсь: днем – смутно, ночью – отчетливо слышишь ты лязг железных заслонок. Перетирается цепь.

Что ты так суетишься? Ты хочешь показать мне свои соколовища? Ну так и быть, у меня есть еще пять минут. Как давно я здесь не была. Какая же я старая! Что же, вот это и было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашенные комодики, топорные клеенчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый плюш, штопанный тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки? И это пело и переливалось, горело и звало? Как глупо ты

путишь, жизнь! Пыль, прах, тлен. Вынырнув с волшебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру разождем озябший кулак – что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с собой? Но, словно четверть века назад, дрожащими руками дядя Паша заводит золотые часы. Над циферблатом, в стеклянной комнатке, съежились маленькие жители – Дама и Кавалер, хозяева Времени. Дама бьет по столу кубком, и тоненький звон пытается проклянуть скорлупу десятилетий. Восемь, девять, десять. Нет. Прости, дядя Паша. Мне пора.

...Дядя Паша замерз на крыльце. Он не смог дотянуться до железного дверного кольца и упал лицом в снег. Белые морозные маргаритки выросли между его одеревеневших пальцев. Желтый пес тихо прикрыл ему глаза и ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с собой дрожащий живой огонечек.

Новая хозяйка – пожилая Маргаритина дочь – ссыпала прах дяди Паши в жестяную банку и поставила на полку в пустом курятнике – хоронить было хлопотно.

Согнутая годами пополам, низко, до земли опустив лицо, бродит Маргарита по простуженному сквозному саду, словно разыскивая потерянные следы на замолкших дорожках.
– Жестокая! Похорони его!

Но дочь равнодушно курит на крыльце. Ночи холодны. Пораньше зажжем огни. И золотая Дама Времени, выпив до дна кубок жизни, простучит по столу для дяди Паши по-

следнюю полночь.

Татьяна Толстая

Любишь – не любишь

– Другие дети гуляют одни, а мы почему-то с Марьиванной!

– Вот когда тебе стукнет семь лет, тогда и будешь гулять одна. И нельзя говорить про пожилого человека «противная». Вы должны быть благодарны Марье Иванне, что она проводит с вами время.

– Да она нарочно не хочет за нами следить! И мы обязательно попадем под машину! И она в скверике знакомится со всеми старухами и жалуется на нас. И говорит: «дух противоречия».

– Но ведь ты действительно все делаешь ей назло!

– И буду делать! И нарочно буду говорить этим дурацким старухам «не здравствуйте» и «будьте нездоровы».

– Да как тебе не стыдно! Надо уважать стареньких! И не грубить им, а прислушиваться, что они тебе скажут: они старше и больше тебя знают.

– Я прислушиваюсь! А Марьиванна только и говорит что про своего дядю.

– Ну и что же она про него говорит?

– Что он повесился от болезни мочевого пузыря! А еще до этого его переехало колесом фортуны! Потому что он запутался в долгах и неправильно переходил улицу!

...Маленькая, тучная, с одышкой, Марьиванна ненавидит нас, а мы ее. Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики «песочное кольцо», которыми она кормит голубей, и нарочно топаем на этих голубей ботами, чтобы их распугать. Марьиванна гуляет с нами каждый день по четыре часа, читает нам книжки и пытается разговаривать по-французски – для этого, в общем-то, ее и пригласили. Потому что наша собственная, дорогая, любимая няня Груша, которая живет с нами, никаких иностранных языков не знает, и на улицу давно уже не выходит, и двигается с трудом. Пушкин ее тоже очень любил и писал про нее: «Голубка дряхлая моя!» А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: «Свинюшка толстая моя!»

Но вот что удивительно – просто невозможно поверить, – но Марьиванна тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки! Эту девочку, Катю, Марьиванна вспоминает каждый день. Она не высовывала язык, не ковыряла в носу, доедала все до конца, обнимала и целовала Марьиванну – ненормальная!

Вечером, лежа в постелях, мы с сестрой придумываем разговоры Марьиванны и послушной Кати:

- Доешь червяков до конца, дорогая Катюша!
- С удовольствием, ненаглядная Марьиванна!
- Скушай маринованную лягушку, деточка!
- Я уже скушала! Положите мне еще пюре из дохлых мышей, пожалуйста!..

В скверике, который Марьиванна называет «бульваром», бледные ленинградские девочки копаются в потемневшем осеннем песке, прислушиваясь к взрослым разговорам. Марьиванна, быстро познакомившись с какой-нибудь старушонкой в шляпке, вынимает из ридикюля твердые старинные фотографии: она и дядя прислонились к роялю, а сзади – водопад. Неужели в недрах этой задыхающейся туши погребено вон то белое воздушное существо в кружевных перчатках? «Он заменил мне отца и мать и хотел, чтобы я называла его просто Жорж. Он дал мне образование, он впервые вывез меня в свет. Вот эти жемчуга – здесь плохо видно – это его подарок. Он безумно, безумно меня любил. Видите, какой он тут представительный? А вот тут мы в Пятигорске. Это моя подруга Юлия. А здесь мы пьем чай в саду». – «Чудные снимки. А это тоже Юлия?» – «Нет, это Зинаида. Это подруга Жоржа. Она-то его и разорила. Он был игрок». – «Ах, вон что». – «Да. Выбросить бы этот снимок, да рука не поднимается. Ведь это все, что от него осталось. И стихи – он был поэт». – «Что вы говорите!» – «Да, да, чудный поэт. Сейчас таких нет. Такой романтичный, немного мистик...»

Старушонка, балда, развесила уши, мечтательно улыбается, смотрит на меня. А нечего глазеть-то! Я показываю ей язык. Марьиванна, от стыда прикрыв глаза, шепчет с ненавистью: «Жуткое существо!» А вечером опять будет читать мне дядины стихи:

– Няня, кто так громко вскрикнул,
За окошком промелькнул,
На крылечке дверью скрипнул.
Под кроваткою вздохнул?

– Спи, усни, не знай печали,
Бог хранит тебя, дитя,
Это вороны кричали.
Стаей к кладбищу летя.

– Няня, кто свечи коснулся,
Кто скребется там, в углу,
Кто от двери протянулся
Черной тенью на полу?

– Спи, дитя, не ведай страха,
Дверь крепка, высок забор,
Не минует вора плаха,
Прозвенит в ночи топор.

– Няня, кто мне в спину дышит.
Кто, невидимый, ко мне
Подбирается все выше
По измятой простыне?

– О дитя, что хмуришь бровки.
Вытри глазки и не плачь,
Крепко стянуты веревки,
Знает ремесло палач.

Ну-ка, кто после таких стихов найдет в себе силы спустить ноги с кровати, чтобы, скажем, сесть на горшок! Под кроватью, ближе к стене – всем известно – лежит Змей: в шнурованных ботинках, кепке, перчатках, мотоциклетных очках, а в руке – крюк. Днем Змея нет, а к ночи он сгущается из сумеречного вещества и тихо-тихо ждет: кто посмеет свесить ногу? И сразу – хватать крюком! Вряд ли съест, но затащит и пропихнет под плинтус, и бесконечно будет падение вниз, под пол, между пыльных переборок. Комнату сторожат и другие породы вечерних существ: ломкий и полупрозрачный Сухой, слабый, но страшный, стоит всю ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За отставшими обоями – Индрик и Хиздрик: один зеленоватый, другой серый, оба быстро бегающие, многоногие. А еще в углу, на полу – квадратик медной резной решетки, а под ним черный провал – «вентиляция». К ней и днем-то подходить опасно: из глубины пристально, не мигая, смотрят Глаза. Да, но самый-то страшный – тот безымянный, что всегда за спиной, почти касается волос (дядя свидетель!). Много раз он приноравливается схватить, но как-то все упускает момент и медленно, с досадой опускает бесплотные руки. Туго, с головой завернусь в одеяло, пусть один нос торчит – спереди не нападают.

Напугав дядиными стихами, Марьиванна уходит ночевать к себе, в коммунальную квартиру, где кроме нее живут еще: Ираида Анатольевна с диабетом, и какая-то пыльная Соня,

и Бадыловы, лишённые родительских прав, и повесившийся дядя... И завтра она придет опять, если мы не заболеем. А болеем мы часто.

Не раз и не два сорокаградусные гриппы закричат, застучат в уши, забьют в красные барабаны, обступят с восьми сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда, всегда один и тот же: деревянные соты заполняются трехзначными числами; числа больше, грохот громче, барабаны торопливей, – сейчас все ячейки будут заполнены, вот осталось совсем немного! вот еще чуть-чуть! сердце не выдержит, лопнет, – но отменили, отпустили, простили, соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой круглый хлеб на тонких ножках по аэродромному полю – и затихло... только самолетики букашечными точками убегают по розовому небу и уносят в коготках черный плащ лихорадки. Обошлось.

Страхните мне крошки с простыни, остудите подушку, расправьте одеяло, чтобы ни одной складочки, иначе вернутся самолетики с коготками! Без мыслей, без желаний лежать на спине, в прохладе, в полутьме – полчаса передышки между двумя атаками барабанщиков. По потолку из угла в угол проходит светлый веер, и еще веер, и еще – автомобили уже зажгли фары, вечер сошел с высот, под дверь в соседнюю комнату просунули коврик света – там пьют чай, загорелся оранжевый абажур, и кто-нибудь из старших уже плетет из его бахромы недозволенные косички – «портит вещь». Пока самолетики не вернулись, можно, оставив среди чугуна-

ных простыней свою постукивающую жаром телесную оболочку, мысленно выскользнуть за дверь – длинная рубашка, холодные тапочки – подсесть невидимкой к столу – а эту чашку за неделю я забыла! – жмурясь, путешествовать взглядом по оранжевым горбам абажура. Абажур молодой, пугливый, он ко мне еще не привык – только недавно мы с папой купили его на барахолке.

Ах, сколько там было людей, сколько обладателей ватников и плюшевых жакетов, коричневых оренбургских платков! И все они горланили, и суетились, и трясли перед папиным лицом синими диагоналевыми отрезами, и совали в нос крепкие черные валенки! Какие там были сокровища! А папа-то: все прошляпил, проворонил, ничего, кроме абажура, оттуда не унес. А надо было закупить всего-всего: и вазочек, и блюдец, и цветастых платков, и совиных чучел, и фарфоровых свиней, и ленточных ковриков! Пригодились бы и кошки-копилки, и дуделки, и свиристелки, и бумажные цветы – маки с чернильными ватками в сердцевинках, и бумажные красно-зеленые дрожащие жабо на двух палочках: вывернешь палочки – и затрясется бахромчатое непрочное кружево, еще вывернешь – и схлопнулось в дудочку, и пропало. Мелькали изумительные клеенчатые картины: Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красавицу; он же в кафтане целится из-за кустов в лебедей с золотыми коронами; он же что-то выделяет с конем... но папа тащит меня дальше, дальше, мимо инвалидов с леденцами, в абажур-

ный ряд.

Мужик ухватывает папу за кожаный рукав:

– Хозяин, продай пальто!

Ай, да не приставайте к нам с глупостями, нам нужен абажур, нам вон туда, я верчу головой, мелькают веники, корзинки, крашеные деревянные яйца, поросенок – не зевай, все, пошли назад. Где он? А, вот. Продираемся сквозь толпу назад, папа с абажуром, еще темным, молчаливым, но уже принятым в семью: теперь он наш, он свой, мы его полюбим. И он замер, ждет: куда-то его несут? Он еще не знает, что пройдет время – и он, некогда любимый, будет осмеян, низвергнут, сорван, сослан, а на его место с ликованием взлетит новая фаворитка: модная белая пятилопастная раскоряка. А потом, обиженный, изуродованный, преданный, он переживет последнее глумление: послужит кринолином в детском спектакле и навсегда канет в помоечное небытие. Сик транзит gloria мунди.

– Папа, купи вон то, пожалуйста!

– Что там такое?

Веселая обмотанная баба, радуясь покупателю, вертится на морозе, подпрыгивает, потопывает валенками, потряхивает отрубленной золотой косой толщиной в канат:

– Купите!

– Папа, купи!

– Ты с ума сошла?! Чужие волосы! И не трогай руками – там вши!

Фу-у-у, ужас какой! Я обмираю: действительно, огромные вши, каждая размером с воробья, с внимательными глазками, с мохнатыми лапками, с коготками, цепляются за простыню, лезут на одеяло, хлопают в ладоши, все громче и громче... Опять загудел бред, закричал жар, завертелись огненные колеса – грипп!

...Темная городская зима, холодная струя воздуха из коридора – кто-нибудь из взрослых вносит на спине огромный полосатый мешок с дровами – растапливать круглую коричневую колонку в ванной. А ну марш из-под ног! Ура, сегодня купаться будем! Через ванну перекинута деревянная решетка; тяжелые облупленные тазы, кувшины с горячей водой, острый запах дегтярного мыла, распаренная сморщенная кожа на ладонях, запотевшее зеркало, духота, чистое наглаженное мелкое бельецо, бегом по холодному коридору, и – плюх! – в новенькую постель: блаженство!

– Нянечка, спой песенку!

Няне Груше ужасно много лет. Она родилась в деревне, а потом воспитывалась у доброй графини. В ее седенькой голове хранятся тысячи рассказов о говорящих медведях, о синих змеях, которые по ночам лечат чахоточных людей, заползая через печную трубу, о Пушкине и Лермонтове. И она точно знает, что если съесть сырое тесто – улетишь. И когда ей было пять лет – как мне, – царь послал ее с секретным пакетом к Ленину в Смольный. В пакете была записка: «Сдавайся!» А Ленин ответил: «Ни за что!» И выстрелил из пуш-

ки.

Няня поет:

По камням струится Терек,
Плещет мутный ва-а-а-ал...
Злой чечен ползет на берег,
То-очит свой кинжа-а-а-ал...

Колышется кисея на окне, из-за зимнего облака выходит грозно сияющая луна; из мутной Карповки выползает на обледенелый бережок черный чечен, мохнатый, блестит зубами...

Спи, моя радость, усни!

...Да, а французский с Марыванной что-то не идет. Не отдать ли меня во французскую группу? Там и гуляют, и кормят, и играют в лото. Конечно, отдать! Ура! Но вечером француженка возвращает маме паршивую овцу:

– Мамочка, ваш ребенок совершенно не подготовлен. Она показывала язык другим детям, порвала картинки, и ее вырвало манной кашей. Приходите на следующий год. До свидания! О ревуар!

– Не досвидания! – выкрикиваю я, уволакиваемая за руку расстроенной мамой. – Ешьте сами вашу поганую кашу! Не ревуар!

(«Ах, так! А ну вышвыривайтесь отсюда! Забирайте вашего мерзкого гаденыша!» – «Не больно-то надо! Сами не очень-то воображайте, мадам!»)

– Извините, пожалуйста, с ней действительно очень трудно.

– Ничего, ничего, я понимаю! Ну что за наказание с тобой!!!

...Возьмем цветные карандаши. Если послунывить красный, он дает особенно гладкий, атласный цвет. Правда, ненадолго. Ну, на Марьиваннино лицо хватит. А тут – громадную бородавка. Отлично. Теперь синим: шар, шар, еще шар. И две тумбы. На голову – черный блин. В руки – сумочку, сумочки рисовать я умею. Вот и Марьиванна готова. Сидит на облупленной весенней скамеечке, галоши расставила, глаза закрыла, поет:

Я ехала домо-о-ой...

Душа была полна-а-а...

Вот и ехала бы ты себе домой! Вот и катилась бы колбаской к своей Катюшеньке.

«... Жорж всегда брал мне халву у Абрикосова – помните?» – «Да, да, да, ну как же...» – «Все было так изящно, деликатно...» – «Не говорите...» – «А сейчас... Вот эти: думала, интеллигентные люди! А они хлеб режут вот такими ломтями!» – «Да, да, да... А я...» – «Я мамочке, покойнице, всегда только «вы» говорила. Вы, мамочка... Уважение было. А это, что же: ладно – я, чужой человек, но к родителям, к родителям своим – ну никакого... А за столом лезут вот

так! вот так! и руками, руками!»

Господи! Долго ли нам еще терпеть друг друга?

А потом скверик закрывают на просушку. И мы просто ходим по улицам. И вот однажды вдруг какая-то худая высокая девочка – белый такой комар – с криком бросается на шею к Марьиванне, и плачет, и гладит ее трясущееся красное лицо!

– Нянечка моя! Это нянечка моя!

И – смотрите – эта туша, залившись слезами и задыхаясь, тоже обхватила эту девочку, и они – чужие! – вот тут, прямо у меня на глазах, обе кричат и рыдают от своей дурацкой любви!

– Это нянечка моя!

Эй, девочка, ты что? Протри глаза! Это же Марьиванна! Вон же, вон у нее бородавка! Это наша, наша Марьиванна, наше посмешище: глупая, старая, толстая, нелепая!

Но разве любовь об этом знает?

...Проходи, проходи, девочка! Нечего тут!.. Распустила нюни... Я тащусь, озлобленная и усталая. Я гораздо лучше той девочки! А меня-то Марьиванна так не любит. Мир несправедлив. Мир устроен наыворот! Я ничего не понимаю! Я хочу домой! А Марьиванна просветленно смотрит, цепко держит меня за руку и пыхтит себе дальше, вперед.

– У меня но-ожки устали!

– Сейчас кружочек обойдем – и домой... Сейчас, сейчас...

Незнакомые места. Вечереет. Светлый воздух весь ушел вверх и повис над домами; темный – вышел и встал в подворотнях, в подъездах, в провалах улиц. Час тоски для взрослых, тоски и страха для детей. Я одна на всем свете, меня потеряла мама, сейчас, сейчас мы заблудим-сяаааааа! Меня охватывает паника, и я крепко вцепляюсь в холодную руку Марьиванны.

– Вот в этом подъезде я живу. Во-он там мое окно – второе от угла.

Под каждым окном нахмурили брови, разинули рты – съедят! – головы без туловища. Головы страшные, и сырая тьма подъезда – жуткая, и Марьиванна – не родная. Высоко, в окне, приплюснув нос к темному стеклу, брезжит повешенный дядя, водит по стеклу руками, всматривается. Сгинь, дядя!!! Выползешь ночью из Карповки злым чеченом, оскалишься под луной – а глаза закатились, – быстро-быстро побежишь на четвереньках через булыжную мостовую, через двор в парадную, в тяжелую глухую тьму, голыми руками по ледяным ступеням, по квадратной лестничной спирали, выше, выше, к нашей двери...

Скорей, скорей домой! К нянечке! О нянечка Груша! Дорогая! Скорее к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, и пусть твои теплые старенькие руки согреют мое замерзшее, заблудившееся, запутавшееся сердце!

Нянечка разматывает мой шарф, отстегнет впившуюся пуговку, уведет в пещерное тепло детской, где красный ночник,

где мягкие горы кроватей, и закапают горькие детские слезы в голубую тарелку с зазнавшейся гречневой кашей, которая сама себя хвалит. И, видя это, нянечка заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет сердцем, как понимает зверь – зверя, старик – дитя, бессловесная тварь – своего собрата.

Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд – а слов не дал: украл речь, запечатал рот, наложил железные засовы, выбросил ключи!

Марьиванна, напившись чаю, повеселевшая, заходит в детскую сказать спокойной ночи. Отчего это ребенок так плачет? Ну-ну-ну. Что случилось? Порезалась?.. Живот болит?.. Наказали?..

(Нет, нет, не то, не то! Молчи, не понимаешь! Просто в голубой тарелке, на дне, гуси-лебеди вот-вот схватят бегущих детей, а ручки у девочки облупились, и ей нечем прикрыть голову, нечем удержать братика!)

– Ну-ка, вытри слезы, стыдно, такая большая! Доедай-ка все до конца! А я тебе стихи почитаю!

Толкнув под локоть Марьиванну, приподняв цилиндр, прищурившись, вперед выходит дядя Жорж:

Не белые тюльпаны

В венчальных кружевах –
То пена океана
На дальних островах.

Поскрипывают снасти
Над старую кормой.
Неслыханное счастье
За пенною каймой.

Не черные тюльпаны –
То женщины в ночи.
Полуденные страны
И в полночь горячи!

Выкатывайте бочку!
Туземки хороши!
Мы ждали эту ночьку –
Гуляйте от души!

Не алые тюльпаны
Расплылись на груди –
В камзоле капитана
Три дырки впереди;

Веселые матросы
Оскалились на дне...
Красивы были косы
У женщин в той стране.

«Страсти какие ребенку на ночь...» – ворчит няня.

Дядя поклонился и исчез.

Марьиванна закрывает за собой дверь: до завтра, до завтра!

Уйдите все, оставьте меня, вы ничего не понимаете!

В груди вертится колючий шар, и невысказанные слова пузырятся на губах, размазываются слезами. Кивает красный ночник. «Да у нее жар!» – кричит кто-то из далекого далека, но ему не перекрычать шума крыльев – гуси-лебеди обрушились с грохочущего неба!

...Дверь на кухню закрыта. Солнце пробивается сквозь матовое стекло. Полдень облил золотом паркет. Тишина. За дверью Марьиванна, плача, жалуется на нас:

– Больше так не могу! Что ж это – день изо дня все хуже... Все поперек, все назло... Я трудную жизнь прожила, все по чужим людям, всякое, конечно, отношение было... Нет, условия – я не говорю, условия хорошие, но в моем возрасте... и здоровье... откуда такой дух противоречия, и враждебность... хотела немножко поэзии, возвышенного... Бесполезно... больше не выдерживаю...

Она от нас уходит!

Марьиванна уходит от нас. Марьиванна сморкается в крошечный платочек. Пудрит красный нос, глубоко вглядывается в зеркало, медлит, будто что-то ищет в его недоступной, запечатанной вселенной. И правда, там, в сумрачных глубинах, шевелятся забытые занавеси, колеблется пламя свечи,

выходит бледный дядя в черном, с листком в руках:

Принцесса-роза жить устала
И на закате опочила.
Вином из смертного фиала
Печально губы омочила.

И принц застыл как изваяние,
В глухом бессилье властелина,
И свита шепчет с состраданием.
Как опочившая невинна.

Порфироносные родители
Через герольдов известили,
Чтоб опечаленные жители
На башнях флаги опустили.

Я в похоронную процессию
Вливаюсь траурною скрипкою.
Нарциссы в гроб кладу принцессе я
С меланхолической улыбкою.

И, притворяясь опечаленным,
Глаза потуплю, чтоб не выдали:
Какое ждет меня венчание!
Такого вы еще не видели.

Смертной белой кисеей затягивают люстры, черной – зер-

кала. Марьиванна опускает густую вуальку на лицо, дрожащими руками собирает развалины сумочки, поворачивается и уходит, шаркая разбитыми туфлями, за порог, за предел, навсегда из нашей жизни.

Весна еще слаба, но снег сошел, только в каменных углах лежат последние черные корки. А на солнышке уже тепло.

Прощай, Марьиванна!

У нас впереди лето.

Виктор Пелевин

Онтология детства

Обычно бываешь слишком захвачен тем, что происходит с тобой сейчас, чтобы вдруг взять и начать вспоминать детство. Вообще жизнь взрослого человека самодостаточна и – как бы это сказать – не имеет пустот, в которые могло бы поместиться переживание, не связанное прямо с тем, что вокруг. Иногда только, совсем рано утром, когда просыпаешься и видишь перед собой что-то очень привычное – хотя бы кирпичную стену, – вспоминаешь, что раньше она была другой, не такой, как сегодня, хотя и не изменилась с тех пор совершенно.

Вот щель между двумя кирпичами – в ней видна застывшая полоска раствора, выгнутая волной. Если не считать лет, когда ты засыпал, ложась для разнообразия ногами в другую сторону, или того совсем уж далекого времени, когда голова еще постепенно удалялась от ног и утренний вид на стену претерпевал небольшие ежедневные сдвиги, – если не брать всего этого в расчет, то всегда этот вертикальный барашек в щели между кирпичами и был первым утренним приветом от огромного мира, в котором мы живем, – и зимой, когда стена пропитывалась холодом и иногда даже покрывалась удивительной красоты серебристым налетом, и ле-

том, когда двумя кирпичами выше появлялось треугольное, с неровными краями, солнечное пятно (только на несколько дней в июне, когда солнце уходит достаточно далеко на запад). Но за время своего долгого путешествия из прошлого в настоящее окружающие предметы потеряли самое главное – какое-то совершенно неопределимое качество. Даже не объяснить. Вот, например, с чего раньше начинался день: взрослые уходили на работу, за ними захлопывалась дверь, и все огромное пространство вокруг, все бесконечное множество предметов и положений, становилось твоим. И все запреты переставали действовать, а вещи словно расслаблялись и переставали что-то скрывать. Взять что угодно – самое привычное, хоть лежак – верхний, нижний – не важно: три параллельные доски, поперечная железная полоса снизу, и на каждой такой полосе по три выпирающих заклепки. Так вот, если рядом был хоть один взрослый, лежак, честное слово, как-то сжимался, становился узким и неудобным. А когда они уходили работать, не то он становился шире, не то появлялась возможность удобно на нем устроиться. И каждая из досок – тогда их еще не красили – покрывалась узором, становились видны годовые кольца, пересеченные когда-то пилой под самыми немыслимыми углами. То ли в присутствии взрослых они куда-то исчезали, то ли просто не приходило в голову обращать на такие вещи внимание под аккомпанемент тяжелых разговоров о пересменках, нормах и близкой смерти.

Самое удивительное, конечно, — это солнце. Главное — даже не ослепительное пятно в небе, а идущая от окна полоса воздуха, в которой висят пушистые пылинки и мельчайшие скрученные волоски. Их движения до того округлы и плавны (в детстве, кстати, видишь их рой издалека с удивительной ясностью), что начинает казаться, будто есть какой-то особый маленький мир, живущий по своим законам, и то ли ты сам когда-то жил в этом мире, то ли еще можешь туда попасть и стать одной из этих сверкающих невесомых точек. И опять: на самом деле кажется совсем не это, но иначе не скажешь, можно только ходить вокруг да около. Просто видишь вокруг себя замаскированные области полной свободы и счастья. У солнца есть потрясающая способность выделять в том немногом, чего оно может коснуться, переходя из верхнего угла первого окна в нижний угол второго, все самое лучшее. Даже обитая железом дверь сообщает про себя что-то такое, что понимаешь — бояться того, что может появиться из-за нее, не стоит. Да и вообще бояться нечего, говорят полосы света на полу и на стенах. В мире нет ничего страшного. Во всяком случае, до тех пор, пока этот мир говорит с тобой; потом, с какого-то непонятного момента, он начинает говорить о тебе.

Обычно в детстве просыпаешься от утренней ругани взрослых. Они всегда начинают день с ругани; сквозь про-

должающийся сон их речь кажется странно растянутой и вязкой, и отлично чувствуешь по их интонациям, что и те, кто орет, и те, кто оправдывается, на самом деле совершенно не испытывают тех чувств, которые стараются выразить своими голосами. Просто они тоже недавно проснулись, еще не совсем очухались от увиденного во сне – хоть ничего уже не помнят – и стараются побыстрее убедить себя и других, что утро, жизнь, несколько минут на сборы – все это на самом деле. А когда им это удастся, они приходят в зацепление друг с другом. Последние утренние сомнения исчезают, и они уже стараются найти в аду, куда только что с такой стремительностью въехали, места поуютнее. И от ругани переходят к шуткам. И то, что у них всех общая судьба, становится несущественно, раз есть минимальные различия, которые они научились видеть, – и уже не важно, что они все здесь подохнут; важно, что кто-то спит наверху и далеко от окна. Главное, что понимаешь все это еще совсем маленьким, когда никак не сумел бы выразить этого вслух, – понимаешь по голосам взрослых, которые долетают до тебя сквозь утренний полусон. И это кажется удивительным и странным – но тогда весь мир еще удивителен, все в нем странно. А потом тебя уже поднимают вместе со всеми.

Сначала взрослые нагибаются откуда-то сверху и подносят к тебе растянутое в улыбке лицо. Видимо, в мире действует закон, заставляющий их улыбаться, обращаясь к тебе, – улыбка, понятно, деланая, но главное, что понимаешь:

зла тебе сделать не должны. Лица у них страшные: изрытые, в пятнах, с щетиной. Чем-то похожие на луну в окне – так же много деталей. Взрослые очень понятны, но сказать при них почти нечего. Часто бывает пакостно от их пристального внимания к твоей жизни. Вроде бы они не требуют ничего: на секунду отпускают невидимое бревно, которое несут всю свою жизнь, чтобы с улыбкой нагнуться к тебе, а потом, выпрямившись, опять взяться за него и понести дальше – но это только на первый взгляд. На самом деле они хотят, чтобы ты стал таким же, как они; им надо кому-то перед смертью передать свое бревно. Не зря же они его несли. По вечерам они часто собираются по несколько человек и кого-нибудь бьют – тот, кого избивают, обычно очень тонко подыгрывает тем, кто бьет, и за это его бьют чуть слабее. Как правило, на это не дают смотреть, но всегда можно спрятаться между лежаков и все разглядеть через стандартную сантиметровую щель между досками. А потом – и хоть от той минуты, когда ты, прячась, смотришь на всю процедуру, до той, когда это случится, еще далеко, – потом наступит день, когда ты сам будешь корчиться на полу среди взлетающих ног в кирзачах и валенках, стараясь подыграть тем, кто тебя бьет.

Когда начинаешь читать, еще не текст направляет твои мысли, а сами мысли – текст. Обрыв проходит всегда по самому интересному месту, и если узнаешь из кусочка газеты, как зал аплодисментами встретил товарищей такого-то

и такого-то, начинаешь думать, что эти двое – очень крутые люди, раз даже их товарищей специально встречают какими-то аплодисментами. И вот закрываешь глаза, и начинаешь представлять себе этих товарищей и аплодисменты, и успеваешь прожить целую маленькую жизнь, совершенно скрытую от сидящих на соседних парашах. И все это из-за куска газеты размером со сторону чайной пачки, со следом подошвы кирзача. А если в руки попадает настоящая книга, это уже ни с чем не сравнишь. И не важно какая – их тут совсем немного, пять-шесть, и каждую читаешь несколько раз, – а не важно потому, что всякий раз читаешь книгу иначе. Сначала в ней бывают важны сами по себе слова, за любым из которых сразу же вспыхивает то, что оно обозначает («сапог», «параша», «ватник»), или зияет бессмысленная чернота («онтология», «интеллигент»), и надо идти к кому-нибудь из взрослых, чего всегда хочется избежать, отчего онтология становится ручным фонарем, а интеллигент – длинным разводным ключом со сменной головкой. В следующий раз интересуешься уже целыми ситуациями: как некто, плотно топая, входит в вонючую тесноту кухни и крепкими рабочими кулаками вдрызг расшибает кривляющееся и мерзкое лицо официанта Прошки. Нет взрослого, который не читал бы эту книжку, – и каждый раз, собравшись вокруг очередной жертвы в обычный дышащий гнилыми ртами круг, они по очереди делают маленький шагжок вперед и на секунду становятся справедливым парнем Арте-

мом, вкладывающим в удар всю ненависть к кривляющемуся и официантскому, которое мечется в центре. Наверно, нет ни одного избиения, в котором не торжествовала бы воображаемая справедливость. А потом – в третий раз – находишь описание, как на верхних нарах горячо дышит какая-то девка, и замечаешь уже только это. Надо совсем повзрослеть, чтобы понять, насколько неинтересно и убого все то, что ты успел столько раз перечитать.

В детстве счастлив потому, что думаешь так, вспоминая его. Вообще, счастье – это воспоминание. Когда ты был маленький, тебя выпускали гулять на целый день, и можно было ходить по всем коридорам, заглядывать куда угодно и забредать в такие места, где ты мог оказаться первым человеком после строителей. Сейчас это стало тщательно охраняемым воспоминанием, а тогда – всего-то: идешь по коридору и тоскуешь, что опять начинается зима и за окном будет почти все время темно, сворачиваешь, на всякий случай ждешь, пока по примыкающему коридору угромышают две матерящиеся овчины, и еще раз сворачиваешь в дверь, которая всегда закрыта, а сегодня вдруг нараспашку. Что-то светится в конце коридора. Оказывается, вдоль стены здесь идут две толстенные трубы, покрытые штукатуркой и даже побеленные. А в конце, там, где виден свет и откинут железный люк, видишь огромный агрегат синего цвета, который мелко-мелко сотрясается и гудит, а за ним – еще два

таких же, и никого вокруг: можно хоть сейчас спуститься по лестнице и оказаться в этом магическом объеме, содрогающемся от собранной в нем силы. Не делаешь этого только потому, что за спиной в любой момент могут запереть дверь, – и идешь назад, мечтая попасть сюда когда-нибудь еще. Потом, когда начинаешь попадать сюда каждый день, когда уход за этими никогда не засыпающими металлическими черепахами становится номинальной целью твоей жизни, часто тянет вспомнить, как увидел их в первый раз. Но воспоминания стираются, если пользоваться ими часто, поэтому держишь это – о счастье – про запас.

Другое воспоминание, которым почти не пользуешься, тоже связано с покорением пространства. Кажется, это было раньше: один из боковых коридоров, зимний день (окна уже синеватые – начинает смеркаться), тишина во всем огромном здании – все на работе. Похоже, что действительно никого нет – это видно по тому, как выглядит все вокруг. Взрослые изменяют окружающее, а сейчас полутемный коридор необычайно загадочен, весь в каких-то тенях – даже немного страшно. Свет еще не включили, но скоро уже должны, и можно позволить себе очень редкое удовольствие – бег. Сначала разгоняешься от пожарной доски в темном тупике коридора (очень странная доска – на ней нарисованы масляной краской топор, багор и ведро), некоторое время виляешь по коридору, наслаждаясь свободой и легкостью,

с которой можешь заставлять стены наклоняться, приближаться или удаляться – и все это из-за крошечных команд, которые даешь своему телу. Но самое потрясающее, конечно, – это поворот направо, в короткое колено коридора, кончающееся затянутым проволочной сеткой окном. Уже метров за двадцать до угла забираешься к левой стене, а когда напротив мелькает фанерная дверца с надписью ПК-15Щ, отделяешься от стены и, вписываясь в длинную дугу, сильно наклоняешься вправо – вот эти-то несколько секунд, когда почти повисаешь правым боком над плитами пола, и дают ни с чем не сравнимую свободу. Потом легко пролетаешь остаток коридора и, вложив пальцы в проволочные ячейки, выглядываешь в окно: уже темно, и над забором, на столбах которого торчат высокие снежные папахи, горит несколько холодных синих фонарей.

Звуки, доносящиеся из-за окна, обладают совершенно иной природой, чем те, которые рождаются где-нибудь в коридоре или за перегородкой. Разница не столько в свойствах самого звука – громкий он или тихий, резкий или приглушенный, – сколько в том, что его одушевляет. Почти все звуки производятся людьми, но те, что возникают внутри огромного здания, воспринимаются как урчание в кишечнике или хруст суставов огромного организма – словом, не вызывают интереса из-за своей привычности и объяснимости. А то, что прилетает из-за окна, – почти единственное свиде-

тельство существования всего остального мира, и кажется, звук оттуда необыкновенно важен. Звуковая картина мира тоже успела сильно измениться со времен детства, хотя ее главные составляющие – все те же. Вот обычный законный звук; далекие звонкие удары железа о железо, по сравнению с пульсом – реже раза в два-три. У них очень интересное эхо: кажется, что звук доносится не из какой-то одной точки, а сразу со всей дуги горизонта. Самое первое, чем был этот бой, – еще в те времена, когда можно было спать после общего подъема, – это шкалой времени или даже внешней точкой опоры, по отношению к которой вечерние разборки и утренний мордобой взрослых приобретали необходимую протяженность и последовательность. Позже этот размеренный звон превратился в стук мирового сердца и оставался им до тех пор, пока кто-то не сказал, что это забивают сваи на стройплощадках. Еще среди звуков можно выделить гудение далеких машин, вой маневрового тепловоза на сортировочной, голоса и смех (очень часто – детский), гул самолетов в небе (в нем есть что-то доисторическое), шум, порождаемый ветром, и, наконец, лай собак. Говорят, что когда-то существовал такой способ сноситься с сидящим в соседней камере (в камерах сидели по одному – даже не верится, что так могло быть): сидящий в первой камере начинал определенным образом стучать в стену, зашифровывая в последовательности ударов свое сообщение, а из соседней камеры ему отвечали, пользуясь тем же кодом. Это, видимо, леген-

да – какой смысл разрабатывать особый язык, когда можно прекрасно обо всем поговорить, встретившись на общих работах? Но важна идея – передача сути через комбинацию самого что ни на есть простого, вроде доносящихся через стену ударов. Иногда думаешь – если бы наш Создатель захотел с нами перестукиваться, что бы мы услышали? Наверное, что-то вроде далеких ударов по свае, забиваемой в мерзлый грунт, – непременно через равные интервалы, тут неуместна никакая морзянка.

Чем ты взрослее, тем незамысловатее этот мир, и все же в нем есть много непонятного. Взять хотя бы два квадрата неба на стене (неба, если сидеть на нижнем лежаке, а с верхнего видны еще верхушки далеких толстых труб). Ночью в них появляются звезды, а днем – облака, вызывающие очень много вопросов. Облака сопровождают тебя с самого детства, и их столько уже рождалось в окнах, что каждый раз удивляешься, встречаясь с чем-то новым. Вот, например, сейчас в правом окне висит развернутый розоватый (уже скоро закат) веер из множества пушистых полос – словно от всей мировой авиации (кстати, интересно, как видят мир те, кто мотает свой срок в небесах), а в левом небо просто расчерчено в косую линейку. Получается, что сегодня та бесконечно далекая точка, откуда дует ветер, как раз напротив правого окна. Наверняка это что-то значит, и тебе просто неизвестен код – вот оно, перестукивание с Богом. Здесь

не ошибешься. Точно так же не ошибешься насчет смысла происходящего, когда на глухой ноябрьской туче появляется размытое пятно, бледный неправильный треугольник (ты уже видел его летним утром на кирпичах возле своего лица), и из его центра сквозь быстро летящие полосы тумана светит солнце. Или – летом – красный, вполнеба холм над горизонтом (только с верхних нар). Раньше существовало много вещей и событий, готовых по первому твоему взгляду раскрыть свою подлинную природу – собственно, почти все вокруг. Когда по рукам пошла фотография тюрьмы, сделанная снаружи (предположительно с каланчи над зоной кондитерской фабрики), было не очень понятно, чем так потрясены старые зэки – неужели в их жизни нет более удивительного? Вечерний кусок плохого торта, знакомая вонь из параша и наивная гордость за возможности человеческого разума. А можно перестукиваться с Богом. Ведь отвечать ему – значит просто чувствовать и понимать все это. Вот так и думаешь в детстве, когда мир еще строится из простых аналогий. Только потом понимаешь, что переговариваться с Богом нельзя, потому что ты сам и есть его голос, постепенно становящийся все глуше и тише. С тобой, если вдуматься, происходит примерно то же, что и с чьим-нибудь криком, долетающим до тебя со двора, где играют в футбол.

Что-то творилось с миром, где ты рос, – каждый день он чуть-чуть менялся, каждый день все вокруг приобретало но-

вый оттенок смысла. Начиналось все с самого солнечного и счастливого места на земле, где живут немного смешные в своей привязанности к кирзовым сапогам и черным ватникам люди – смешные и тем более родные; начиналось с радостных зеленых коридоров, с веселой игры солнца на облупившейся проволочной сетке, с отчаянного щебета ласточек, устроивших себе гнездо под крышей жестяного цеха, с праздничного рева ползущих на парад танков – хоть их и не видно за забором, умеешь по звуку определять, когда идет танк, а когда самоходка; с дружного хохота взрослых, встречающего некоторые из твоих вопросов; с улыбки натянувшегося на тебя в коридоре охранника; с виляния хвоста подбегающей к тебе огромной овчарки. Потом самое лучшее место понемногу блекнет: начинаешь замечать трещины на стенах, тяжелую вонь из пищеблока, неприятную именно своей ежедневностью; начинаешь догадываться, что и за родильным забором со свежешаппаклеванными выщербинами существует какая-то жизнь, – словом, с каждым новым днем все меньше вопросов по поводу твоей настоящей судьбы остается без ответа. А чем меньше остается скрытого от тебя, тем меньше взрослые склонны прощать тебе за твою чистоту и наивность; получается, что просто видеть этот мир уже означает замараться и соучаствовать во всех его мерзостях – а по вечерам в тупиках коридоров и темных углах камер бывает много страшного. И вот из зыбкого тумана забывающегося детства выплывает – как при наведении фокуса – пони-

мание того, что ты родился и вырос в тюрьме, в самом грязном и вонючем углу мира. И когда ты окончательно понимаешь это, на тебя начинают в полной мере распространяться законы твоей тюрьмы. Но и что из этого? Дело в том, что мир придуман не людьми – как бы они ни мудрили, они не в состоянии сделать жизнь последнего зека хоть сколько-нибудь отличной от жизни самого начальника хозяйственной части. И какая разница, что является поводом, если вырабатываемое душами счастье одинаково? Есть норма счастья, положенного человеку в жизни, и что бы с ним ни происходило, этого счастья не отнять. Говорить о том, что хорошо и что плохо, можно, если по меньшей мере знаешь, кем и для чего сконструирован человек.

Предметы не меняются, но что-то исчезает, пока ты растешь. На самом деле это «что-то» теряешь ты, необратимо проходишь каждый день мимо самого главного, летишь куда-то вниз – и нельзя остановиться, перестать медленно падать в никуда – можно только подбирать слова, описывая происходящее с тобой. Возможность смотреть в окна – не самое главное в жизни, но все же расстраиваешься, когда тебя перестают выпускать в коридор – уже почти взрослый и к празднику получишь кирзовые сапоги и ватник. Из множества когда-то доступных панорам для постоянного пользования остается всего одна (из обоих окон под чуть разными углами видно то же самое), любоваться которой мож-

но, только прислонив короткую лавку к стене и встав на ее край; двор, окруженный невысоким бетонным забором, два ржавых автобуса – скорее уже останки, похожие на мертвых ос, пустые внутри желтые оболочки; длинное здание соседней тюрьмы под полукруглой коричневой крышей; дальше уже совсем далекие тюрьмы и небо, занимающее всю остальную часть четырехугольного проема. То, что видишь каждый день много лет, постепенно превращается в памятник тебе самому – каким ты был когда-то, – потому что несет на себе отпечаток чувств уже почти исчезнувшего человека, появляющегося в тебе на несколько мгновений, когда ты видишь то же самое, что видел когда-то он. Видеть – на самом деле значит накладывать свою душу на стандартный отпечаток на сетчатке стандартного человеческого глаза. Раньше в этом дворе играли в футбол, падали, вставали, били по мячу, а сейчас остались только ржавые автобусы. На самом деле с тех пор, как ты начал ходить на общие работы, ты слишком устаешь, чтобы внутри ожило хоть что-то, способное сыграть в футбол на твоей сетчатке. Но какая бы всенародная смена белья ни ждала впереди, уже никому не отнять у прошлого того, что видел кто-то (бывший ты, если это хоть что-нибудь значит), стоя на качающейся лавке и глядя в окно: несколько человек перекидывают друг другу мяч, смеются – их голоса и удары ног о кожу доносятся с небольшим опозданием; один неожиданно вырывается вперед – на нем зеленая майка, – гонит мяч к воротам из двух старых протекторов,

бьет, попадает, исчезает из виду – и долетают крики игроков. Удивительно. В этой же камере жил когда-то маленький зэк, видевший все это, а сейчас его уже нет. Видно, побеги иногда удаются, но только в полной тайне, и куда скрывается убежавший, не знает никто, даже он сам.

Андрей Битов

Но-га

*Калитку тяжестью откроют облака,
И Бог войдет с болтушкой молока.*

С. Красовицкий

– Ну, Заяц, ты идешь с нами или не идешь?..

Второклассник Зайцев колебался.

Сегодня папин день рождения, и мама сказала: «Как придешь из школы, сразу садись за уроки, потом приберись и все сделай очень хорошо до того, как папа вернется с работы. Это будет лучший подарок».

День рождения отца – это Зайцев понимал. Но перед ним, серьезные, сомкнутые, стояли ребята, молча ждали и словно испытывали его. ... Уже три месяца – как вернулся из эвакуации и пошел в школу – Зайцев выходил со всеми после уроков, и все разделялись на группы и расходились группами, а эти двое всегда шли в сторону, в которую не ходил никто, а Зайцев оставался один и шел один. Портфель становился тяжелым и чужим, и Зайцеву было тоскливо.

Он всегда ждал дружбы, и она не удавалась, как-то он не был нужен, а в его возрасте это уже стало важнее всего. Надо было что-то предпринять, и Зайцев выбрал этих двух.

Он старался им услужить, заискивал, отдавал им свой завтрак и папиросы. Они пожимали плечами и равнодушно забирали дары. Зайцев терпел.

И вот сегодня они долго шептались вдвоем в раздевалке, а он стоял в сторонке и с безразличным видом стучал себя портфелем по коленкам. Сердце колотилось. Зайцев не помнил и не думал в тот момент ни о чем – только ждал.

В подвале раздевалки пахло сыростью и стояла большая лужа. Раздевалка была недавно бомбоубежищем. Кто-то, проходя, выбил у Зайцева портфель, и портфель упал в лужу. Пока Зайцев понял, что произошло, обидчика уже не было. Зайцев оттирал портфель, глотая обиду, мысленно убивал противника с одного удара в висок, когда услышал:

– Ну что ж, мы тебя берем, Заяц.

Обида исчезла, и что-то запрыгало внутри от радости. И тут же, тенью – воспоминание о доме и об этом дне рождения. Он вспомнил и остановился у подъезда школы. А те двое прошли вперед и тоже остановились, выжидая...

– Ну, Заяц, ты идешь с нами или не идешь?

И они, серьезные, сомкнутые, повернулись и пошли. И он снова был оттеснен, как в игре, как в столовой, как в раздевалке, как... он всегда был так несчастлив от этого! Какими ловкими и смелыми казались ему все, кроме него... Как он завидовал и как ненавидел себя. Сегодня была первая надежда на то, что с этим могло быть покончено. Завтра уже ничего не может быть. И надо же, чтобы все так совпало! Что

стоило отцу родиться завтра?.. А они шли, удалялись, и Зайцева уже не существовало для них... И он нагнал их.

...Теперь они шли вместе, но он шел последним. Снег забивался в ботинки и там таял, а его папины кальсоны опять развязались, и их отяжелевшие тесемки попадали под ботинки. Зайцев спотыкался, но остановиться и перевязать не мог, потому что не хотел и даже боялся отстать. От радости и возбуждения ему все еще спирало горло. Они шли между неровными снежными кучами, из которых выглядывали битый кирпич, штукатурка и щепы. Первый обернулся и сказал:

– Тут был дом, и в нем жил вампир. Не знаешь?

– Неет, – протянул Зайцев и стал вглядываться в кирпич, но там ничего не было, кирпич был красный и серый.

– Он пил кровь, – сказал первый.

Зайцев наступил на тесемку кальсон, и она оборвалась. Они пролезли под колючей проволокой. За ней был сад. Тут не было мусора, был ровный снег, и редкие, отдельные, стояли старые деревья. А Зайцев никогда и не слышал, что в нескольких шагах от школы и ее двора, за кучами, был сад, чистый белоснежный сад, с черными деревьями. И прошли-то они совсем немного, но уже не было видно куч и проволоки тоже видно не было. Вокруг, редкие, стояли деревья, все было белым, и снег, и небо, небо было в двух шагах, вокруг. Нигде не было краев и границ, и было очень тихо. Они тихо проваливались в снег, трое, гуськом. И тихо отлетал ото рта пар, такой же белый, как небо. Было тепло и сыро.

Тогда перед ними появился круглый пруд с круглым островом посередине. На острове, вокруг, подступая к самой воде, стояли те же деревья. Кольцо черной воды было разорвано белыми льдинами. Тут же оказался шест, и сначала первые двое, а затем Зайцев, как во сне, — они стояли на льдине, один с шестом — отталкивались и плыли к острову. Льдина немного ушла под ними в воду, и ботинки стали мокрые совсем. Зайцеву показалось, что плыли они долго — на самом деле они оттолкнулись один раз и уже стояли на берегу. И остров был островок, а за деревьями, в центре островка, был холм. Они обошли кругом, холм был холмик, а один забрался наверх, и они обнаружили в холме проем, занесенный снегом. Они разгребали снег руками, спеша и задыхаясь, руки их горели, а покраснели так, что, когда они перестали копать, Зайцеву померещилось, что руки в крови, он вспомнил про вампира, но с них стекала просто талая вода. Под снегом показалась дверь, но она была закрыта на засов, а на засове висел большой замок, и все это очень проржавело. Руки стали красно-рыжими, но замок не открылся. Они замаскировали проем снегом и сговорились прийти сюда завтра с инструментом.

За прудом открылось заснеженное голое и ровное пространство, а за ним, слева, какое-то большое ступенчатое строение, тоже занесенное.

— Стадион, — сказал один.

— Трибуны, — сказал другой.

Все это были очень неизвестные Зайцеву вещи, он смотрел во все глаза. Они обошли трибуны – трибуны оказались высотой с двухэтажный дом. Вся задняя стена была расковырена, и доски во многих местах оторваны. Тут снова были словно бы развалины и кучи. Непонятные сетчатые высокие загородки были рядом. Они стояли ржавые и рваные, с большими неровными дырками, на которых сетка обвисала вниз, как тряпка.

Там, где сетка была целой, в одной из ячеек застряладохлая ворона.

– Клетки, – сказал Зайцев.

– Дурак, это корт, – сказали они. Они пролезли в пролом и очутились под трибунами. Тут было темно и пахло плесенью.

– Тихо! – громким шепотом сказал первый.

Несколько шагов они прошли согнувшись, почти ползком, хотя тут и было очень просторно. Сердце колотилось, Зайцев крался следом, ловко и бесшумно, зорко вглядываясь в темноту, и вдруг уперся в чей-то живот. Поднял глаза – оба стояли выпрямившись и смотрели на него.

– Есть папиросы? – громко спросил первый.

Зайцев тоже выпрямился и полез в карман. Они курили, пряча в кулак огоньки. В щелях между ступенями был виден снег, и лепешки его лежали на земле под ступенями трибун.

Тут же была масса всякого хлама: куча каких-то опилок, обрывки фанеры и толя. На столбе прямо перед носом было выцарапано: «Нинка, приходи в восемь». Зайцев вспомнил

подвал в его доме, как его послали туда за дровами и как он наткнулся... А потом пятился: «Извиняюсь, – говорил он тогда, – извиняюсь...» Воспоминание было страшным и сладковатым.

– Идите сюда, идите! – услышал он.

Сердце ухнуло вниз, и Зайцев побежал на крик. Там стоял первый, и перед ним, сваленные большой кучей, лежали противогазы. Некоторое время они стояли молча, окаменев.

– Сколько рогаток! – восхищенно сказал один, и тогда они набросились на кучу. Они распаковывали сумки и пытались натянуть маски на голову. Резина была серая, с большими пятнами плесени. Маски не расклеивались и рвались при попытке надеть.

– Да уж, рогатки... – сказал один. – Гнилье.

Но вот, в глубине кучи, стали попадаться и более приличные маски. Правда, где-нибудь они лопались, но на голове держались. Когда это удалось первому – это было удивительно и странно на него смотреть: такой маленький серый слон в темном сарае.

– Хобот, хобот! – закричали они.

Тогда тот, в противогазе, стал неуклюже прыгать, растопырив руки. На это уже было невозможно смотреть – так смешно. Но ему надоело прыгать: тяжелая банка болталась на кишке и била по ногам. Он внезапно сел, словно упал, и стал отковыривать банку. Тогда и они нашли подходящие маски и тоже надели. Теперь первый тыкал в их сторону

пальцем и сидя раскачивался взад и вперед. Нелепое болботанье было слышно из-под маски. Он смеялся. И все они, открутив банки, прыгали, и хоботы их раскачивались. И тут первый, сорвав маску, весь красный, закричал:

– Слоны! Мы – слоны!

И стал раскручивать кишку над головой. От этого шуршал воздух.

И все сорвали маски – и тогда все кончилось: противогазы были пережиты. Пережиты, как дверь на острове. Но тут первый...

– Мы будем кататься! – воскликнул он.

– Как? – сказали они.

– По столбам!

Они прошли под трибунами и вскоре обнаружили лестницу. Вскрабкавшись по ней, они очутились на полке из двух досок. Отсюда, под углом, уходили вниз гладкие круглые столбы. Первый, ловко перекинув ногу, очутился верхом на столбе. Так он сидел, крепко обняв руками и ногами столб. Потом слегка разжал и быстро и плавно соскользнул до самого низа. За ним – второй. Зайцев остался последним. Посмотрел вниз – что-то замерло внутри.

– Давай! Давай! – кричали внизу ребята. А первый уже карабкался по лестнице, и вот он рядом.

– Трусишь?

Ничего не оставалось. Зайцев перелез и судорожно сжал столб. Попытался устроиться поудобнее – и вдруг поехал

вниз. Быстрее, быстрее. И вот он внизу – ему стало весело. Это оказалось так просто! Что-то припрыгивало внутри. Съехали остальные, и он первый снова полез наверх. Теперь-то он съедет! Лучше всех. Он смело перекинул ногу и сел на бревно. И тут же понял, что сидит он плохо. Его кренит все сильнее, и он судорожно сжимает бревно, но все съезжает, съезжает на сторону. И тут – один миг – и он висит на руках, ноги болтаются – и он летит. Он подвернул ногу, когда падал, – это было очень больно. Но заплакал он от досады, что свалился, – не от боли. Сверху, придерживаясь за столб, смотрели ребята. Он сидел, обхватив ногу, раскачивался – баюкал ногу. На ребят он старался не смотреть – стыдился. Они съехали вниз.

– Что с тобой? – сказал первый.

Он хотел вскочить, сказать: ничего, ничего страшного.

Вскочил – чуть не закричал от боли.

– Ббольно, – только и сумел сказать он.

– Ну вот, – сказал второй.

– Я же говорил, – сказал первый, – не надо было брать его с собой.

– Тюфяк, – сказал второй.

Это было невозможно слышать, да и боль вдруг стала таять.

– Это пустяки, – сказал Зайцев. Ему было стыдно, и он не смотрел на товарищей. Слезы всегда его подводили. От боли ведь он никогда не плакал. Только от обиды. Будто

не он сам, а кто-то в нем плакал.

Не глядя на товарищей, он повернулся и направился к лестнице.

– Опять упадет, – сказал первый.

– Нее, – сказал Зайцев, – теперь не упаду. Упасть – ведь это пустяки.

Теперь все шло благополучно. Он съезжал и съезжал, и легкое замирание внутри, перед ним скользило гладкое, полированное бревно, и удалялись стоявшие наверху ребята. Он забирался и забирался по лестнице, и это было гораздо дольше, чем миг полета. Так они катались, и сначала он чувствовал себя как во сне, потом – словно бы сон стал явью, потом летчиком, потом акробатом, и наконец это стало просто скучным занятием: ничего сложного, увлекательного или опасного в этом уже не было, а карабкаться каждый раз по лестнице – надоело. К тому же на лестнице он уже стал чувствовать боль в ноге: сначала слабую, потом сильнее. Мысль о том, что, наверно, уже поздно, шевельнулась в нем, и чем больше приедалось катание и сильнее болела нога, тем настойчивей стучалась мысль о доме, что родители волнуются и папин день рождения, он не сделал уроки и перемазал пальто – чувство вины. И ощущение неизбежности расплаты за всю эту свободу – все росло. Но он не мог первый сказать, что пора возвращаться, и потому, что боялся новых насмешек, и потому, что ненавидел себя за все это, как за слабость, – боялся проявить ее. И потом, так здорово было все,

что произошло сегодня, ему хотелось удержать это – но это уходило и таяло. И все мучительней стучалась мысль о доме, жалко маму, и папа, который сердится, и будет кричать, и, может, стукнет, а потом заплачет от этого. И нога болела довольно сильно. Но ребята словно бы не замечали, и он, уже отчаявшись, все лез и лез по лестнице и съезжал вниз и вниз, уже молча. Но и ребята уже не были возбуждены и тоже молчали. И вдруг первый сказал, словно бы через силу:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.